

ЮРИЙ ПАВЛОВ

## АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН О ТВОРЧЕСТВЕ ВАСИЛИЯ БЕЛОВА

Вадим Кожин 9 декабря 1978 года в письме к Василию Белову признался: “Помни, что ты всегда во мне – как человеческая мера, которой я и поверяю, – правильно ли я думаю и решаю” (“Наш современник”, 2012, № 10). Уверен, мысль Вадима Валериановича имеет универсально-национальное значение: Белов, человек и художник, – не только мера, но и своеобразный проявитель сущности любого человека. В том числе и человека, пишущего о творчестве самого Белова. Прежде всего с этих позиций рассмотрим объёмную работу Александра Солженицына “Василий Белов” (“Новый мир”. 2003. № 12).

### I

В первом абзаце статьи Солженицын, перечисляя бытовые реалии повести Белова “Привычное дело”, определяет их как “всё то, из чего складывается вечное”. Однако главный интерес Александра Исаевича вызывает не вечное, а “преходящее”, как он сам уточняет, – “советско-колхозное”. К нему писатель относит “неторопливые пересуды мужиков”, пьянство, обман уполномоченного...

Такая – весьма характерная для Солженицына – социально-историческая привязка событий повести вызывает возражения, часть из которых приведу. Конечно, пересуды, пьянство, обман начальства возникли задолго до колхозов и не исчезли в постсоветское время. Более того, в последние 25 лет все эти негативные явления, пьянство в первую очередь, приобрели гораздо больший масштаб, чем при жизни героев “Привычного дела”. Очевидно и другое: без колхозов и советов были, есть и будут много пьющие народы.

Итак, в самом начале статьи (и затем неоднократно) Солженицын интерпретирует факты и события повести с социально-классовых позиций, продолжая, по сути, традиции Белинского, Добролюбова и их многочисленных последователей XIX–XX веков, “неистовых ревнителей” социалистического реализма в том числе. Уже это не позволяет писателю объективно оценить “Привычное дело” в целом и образ главного героя в частности.

Иван Африканович Дрынов характеризуется Солженицыным как природный человек с закреплённым социальным статусом, “только и мыслимый (разрядка моя. – Ю. П.) в отведённой ему непритязательной колее, на своём привычном месте”. Ключевое слово, через которое Александр Исаевич определяет личность Дрынова, – это покорность. Покорность власти и со-

бытиям. А все чувства, мысли, поступки героя, не вписывающиеся в данную схему, характеризуются писателем своеобразно, типично по-солженицынски. Например, поведение Дрынова на колхозном правлении (где решается вопрос о справке для паспорта) называется “бунтом”, “воинственностью <...> недо-стойверной”. И далее о Дрынове, участнике Великой Отечественной войны, говорится с позиции всё той же покорности: “Отвоевал войну, уцелел <...>, таким же тихим и смиренным, совсем не героем”.

В своей оценке Дрынова Солженицын совпадает как с “коробочками” партийности 60–70-х годов минувшего века, так и с современными либеральными пустозвонами. Это они видели и видят в герое Белова социального младенца, человека с доличностным сознанием, интересы которого дальше деревенской околицы не простираются, недочеловека, чья жизнь схожа с существованием коровы Рогули.

Подобные взгляды довольно точно прокомментировал более 30 лет назад Юрий Селезнёв. Приведу ту часть рассуждений критика, которая воспринимается и как ответ Солженицыну. Селезнёв обращает внимание на то, что “сквозь него (Дрынова. — Ю. П.) шесть пуль прошло, что с его орденом Славы сын Васька бегаёт” (Селезнёв Ю. Василий Белов. М., 1983). В отличие от всех тех, кто не видел и не видит в действиях советских солдат ничего, “кроме слепого подчинения не зависящим от них обстоятельствам”, Ю. Селезнёв на примере Дрынова справедливо утверждает идею “беспримерного подвига народа в Отечественной войне”.

К сказанному критиком нужно добавить то, о чём он не упомянул (видимо, посчитав это очевидным) и что Солженицын не заметил или не захотел заметить. Всю войну Иван Африканович находился на передовой, в пехоте, на всех фронтах. Помимо ордена Славы, у Дрынова есть и орден Красной Звезды, и другие награды (о них, со слов Катерины, говорится без уточнений). О многом свидетельствует и тот факт, что под Смоленском Иван Африканович возглавлял группу, которая была направлена в тыл немцам взорвать мост и взять языка.

Рассуждения Солженицына и других о покорности, пассивности Дрынова не стыкуются и с эпизодом из мирной жизни. Во время пахоты, когда Иван Африканович с Мишкой объезжали телеграфный столб, плуг скользнул и прицеп выскочил на поверхность... На призыв разъярённого Дрынова остановиться Мишка отреагировал так: “А-а, подумаешь! Всё равно ничего не вырастет... И чего ты, Африканович, везде тебе больше всех надо”.

Слова “везде”, “больше всех” указывает на то, что Ивана Африкановича отличает совестливое отношение к жизни. Показательны в этом отношении реплики Дрынова, обращённые к Митьке: “Привыкли всё покупать, всё у тебя стало продажное. А если мне не надо продажного? Ежели я неподкупного хочу?”

Именно на совестливость Дрынова следует обратить внимание любому человеку, пишущему о “Привычном деле”. Однако Солженицын, как и многие авторы, этого не сделал. Я лишь на одном примере пунктирно обозначаю, какие открываются горизонты в понимании образа и разных проблем, если следовать по указанному пути.

Напомню, что из скошенного в колхозе сена Иван Африканович получал лишь 10% для собственной коровы, что было, по его словам, “мёртвому припарка”. Поэтому Дрынов вынужден тайно косить сено в лесу по ночам. В отличие от мерзавцев, утверждающих, что воровство — русская национальная традиция, Василий Белов неоднократно обращает внимание на то, какие душевные муки испытывает Дрынов, поставленный властью в положение без вины виноватого, человека, нарушающего закон. Из главы “И пришёл сенокос” приведу цитаты, передающие внутреннее состояние героя во время работы по ночам и последовавшего затем разоблачения: “Стыдно, конечно, было бродить, как вор, от людей по кустам прятаться”; “И вот Иван Африканович косил по ночам, как вор или разбойник”; “Иван Африканович крадучись (после работы на себя. — Ю. П.) вышел в поле на покос и косил весь день, до вечера колхозное сено”; “В кабинет председателя Иван Африканович вошёл, будто кот-блудня, спокойно, но с внутренним сознанием своей вины”; “Иван Африканович покраснел, как маков цвет”; “Он чуть не плакал от стыда, виноватого и чуял, как розовели горящие уши”; “Не знаю, что делать, Катерина... — сказал он как-то вечером. — Записали мои стожонки... Стыд. На всю округу ославили”.

Примерно тридцать лет звучат голоса, что Иван Африканович – уходящий человеческий тип, на его смену приходят настоящие герои своего времени – Гехи-мазы, дети и внуки “напористых махинаторов” и им подобные. Уточню: эгоцентрические личности, люди без стыда, совести, сострадания к ближнему, любви к народу, Родине... Убеждён, Иван Африканович – это вечный тип совестливого амбивалентного русского человека, и его уход с исторической сцены будет символизировать конец России.

Сказанное, конечно, не означает, что Дрынов – идеальная личность. Именно так интерпретируют взгляды “правых” критиков не одно десятилетие “левые” и либеральные авторы (один из относительно свежих примеров – глава 10, написанная Марком Липовецким и Михаилом Бергом в учебнике “История русской критики: советская и постсоветская эпохи”. М., 2011. С. 488–489). Для нечистоплотных исследователей и для тех, кто готов верить на слово либеральным и прочим “мудрецам”, приведу суждения Вадима Кожина (именно его точка зрения беспардонно-лживо переворачивается в указанном учебнике) и Юрия Селезнёва: “В повести нет, в частности, превосходства человека, живущего на земле, землёй, над людьми, ведущими иной образ жизни, нет идеализации “патриархальности” и т. п. Герой Белова несколько не “лучше” людей, сформированных иными условиями: он только – в силу самого своего образа жизни – обладает единством бытия и сознания – единством практической, мыслительной, нравственной и эстетической жизнедеятельности” (Кожин В. Ценности истинные и мнимые. В кн.: Кожин В. Статьи о современной литературе. М., 1982); “В герое Белова очевидны и положительные, и негативные черты “деревенского” и в целом – человеческого характера. Иван Африканович – не ангел, не икона, не идеал, но и не “отрицательный тип” (Селезнёв Ю. Василий Белов. М., 1983).

Ещё одна особенность статьи Солженицына – очень вольная трактовка отдельных эпизодов повести, нарушение фактологической и образной достоверности. Например, в его тексте утверждается, что “через две недели (после правления колхоза. – Ю. П.) председатель добродушен к беглецу”. Но, во-первых, случайная встреча Ивана Африкановича с председателем произошла через шесть недель после правления, на сороковины Екатерины. Во-вторых, нет никаких оснований говорить о добродушии председателя: он, бригадир и Дрынов помянули покойницу за углом магазина. Домой же к Ивану Африкановичу председатель отказался идти: “Времени-то нет”.

Вот ещё один пример: Солженицын утверждает, что “в пьяный час уговаривает Митька зятя: ехать прочь из колхоза на Север”. Однако беседа героев происходит ранним утром – в трезвом виде, без спиртного – на огороде Дрынова, где он окучивал картошку. Среди доводов Митьки, приводимых Солженицыным, опущен главный, повлиявший на решение Дрынова ехать на Север: “Ты хоть бы о ребятах подумал, деятьель”. Весомость данного аргумента подчёркивается и авторской характеристикой (“подействовал сильнее всех других”), и признанием героя. Он после возвращения из неудачной поездки говорит: “Думаю, ребяташек полный комплект, и все в школу ходят, кормиться надо, а дома какой заработок?”

Заработок, напомним, 10–15 рублей.

Солженицын, перечисляя колхозно-советские реалии “Привычного дела”, говоря о “необличительно-гневном” изображении “колхозных бесчинств” данный наиважнейший факт почему-то не приводит. Забывают о нём (как и многом другом: Катерина ложится спать после одиннадцати, а в три часа она уже на ногах; её муж до колхозной работы, пройдя четырнадцать вёрст в оба конца, тайно косит в лесу для своей коровы и т. д.) и те авторы, которые, подобно Владимиру Личутину, утверждают, что советско-колхозный дом для Белова – “добрый дом” (“Завтра”. 2012. № 50).

В статье немало неточностей другого типа, обусловленных всё тем же социально-ограниченным видением человека, событий, времени. По мнению писателя, “не очень правдоподобно, что председатель сдаётся, не обращается в милицию...”. В данном случае Александр Исаевич, видимо, исходит из того, что каждый представитель власти – законченный подлец и трус. У Белова же социальный статус героя не исчерпывает человеческой сущности его. Председатели колхозов в “Привычном деле” показаны разными людьми. Соседнего председателя Иван Африканович называет хорошим мужиком: он и за работу заплатил прилично, и разрешил Дрынову тайно косить траву для сво-

ей коровы на чужой территории. Да и местный бригадир делает вид, что не знает о ночной косыбе. До известных событий так же ведёт себя и председатель колхоза, в котором работает Дрынов.

Возвращаясь к эпизоду, вызвавшему критически-негативное отношение Солженицына, нужно подчеркнуть: Александр Исаевич не увидел того, что, казалось бы, лежит на поверхности и что художественно-убедительно, мастерски показал Белов через портретные характеристики, речи и поступки персонажей. Схватка Дрынова с председателем изображена как противостояние двух фронтовиков, двух мужчин. Представитель власти с трудом смирил свою злобу, “со страдальческой гримасой” выполнил требование Ивана Африкановича, ибо оно законно с юридической и человеческой точки зрения. А желание жаловаться в милицию у председателя даже не могло возникнуть: он из тех, кто не жалуется и не “стучит”. Один из вариантов реакции героя на проблемные ситуации дан в эпизоде (пропущенном Солженицыным), когда бригадир посылает своего начальника “по матери”.

Желание жаловаться в милицию гипотетически могло возникнуть только у районного уполномоченного. Через этот эпизодический образ властный “срез” советско-колхозной жизни показан ярче всего. Поэтому вызывает удивление, что данный образ, по сути, остаётся вне поля зрения Солженицына.

Есть смысл сказать и об эпизоде, который, по понятным причинам, проигнорирован Солженицыным. Данный эпизод не только не утратил своей исторической, геополитической актуальности, но и воспринимается как анекдот, рождённый в 2014 году. Вопрос, адресованный в годы Великой войны русским, англичанам, американцам: как они поступили бы с пленным Гитлером? – “наш русский Сталин” (так называет его Фёдор) переадресовал советскому солдату. Тот предложил следующее решение: взять кочергу, накалить докрасна, а потом “всунуть эту кочергу прямо Гитлеру в задницу”, но только холодным концом, “чтобы союзники не вытащили”.

И ещё: “Привычное дело” – это прежде всего повесть о любви, поэтичной, глубокой, настоящей, стыдливой, стеснительной, горячей... Любви между мужчиной и женщиной, любви к детям, дому, природе, животному миру, малой Родине посвящены лучшие страницы произведения. И мимо этого главного умудрился пройти Александр Солженицын. Слово “любовь” в его размышлениях встречается лишь один раз в таком контексте: “малые дети явлены нам не просто с любовью – но с вниманием и пониманием к каждому...”.

Когда же Александр Исаевич отмечает достоинства “Привычного дела”, его оценки имеют, скорее, формальный характер и преимущественно языковую направленность: “литературный самородок”, глава о Рогуле – “жемчужина”, “язык диалогов – живейший”, “сочные русские слова” и т. д. Правда, хваля язык повести, Солженицын замечает: “Есть мелкие срывы-неточности: “вневременная созерцательность” (о корове)”.

Конечно, Белову повезло больше Чехова, у которого Александр Исаевич нашёл почти сотню языковых и стилистических якобы погрешностей (Солженицын А. Окунаясь в Чехова// “Новый мир”. 1998. № 10). Однако и в случае с Беловым, и в случае с Чеховым Солженицын, думаю, не учитывает то, о чём тонко и точно сказал Вадим Кожин ещё в 1968 году в статье “Голос автора и голоса персонажей. “Привычное дело” Василия Белова”. Приведу одно высказывание из этой работы: “В этих отрывках (как и в тексте главы в целом) совершается непрерывное, гибкое и сложное взаимоотражение голосов повествователя и героя. Конечно, мы слышим и доподлинную речь Ивана Африкановича, и прямой голос писателя, художника (“ярость звенела в поющем под ногами настё”). Но главное – в их переплетении, когда в авторскую речь – как, например, в отрывке о заячьих горошинах – внедряются слова героя (“побрезговать”, “стручки тетеревов”) и сам синтаксический строй его речи с характерными повторами (“ничего нет такого... ничего отвратного”)” (Кожин В. Статьи о современной литературе. М., 1982).

Вообще, наставления Солженицына на деревенскую тему, адресованные Белову, воспринимаются с ироническим удивлением, ибо Александр Исаевич, конечно, сельской жизни не знал. Вспомним хотя бы миф о послевоенном поголовном бегстве из колхоза и таком массовом предпринимательстве: “и ездят они по всей стране, и даже в самолётах летают, потому что время своё берегут, а деньги гребут тысячами многими” (“Один день Ивана Денисовича”).

В основе солженицынского видения деревни лежат стереотипы, которые Белов назвал вульгарно-социологическими, ложными, лживыми (Белов В. Ремесло отчуждения // “Новый мир”. 1988. № 6). Подобные представления о крестьянстве писатель проиллюстрировал “фиктивным образом” “стяжателя Гаврилы” из горьковского “Челкаша”.

Деревенский миф произведений Солженицына во многом созвучен мифу названного рассказа и неназванной буинской “Деревни”. Подавляющее большинство героев “Матрёниного двора” – клоны Гаврилы, а в “крохотке” “На родине Есенина” Константиново и “многие и многие деревни” вообще – территория духовного убожества, “где красоту <...> тысячу лет топчут и не замечают”, “где и сейчас все живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием перед соседями”.

Солженицын не стал уделять достойного внимания столь значимой проблеме, как социальное бесправие крестьян. Данный факт, думаю, свидетельствует о его, по меньшей мере, человеческой, исследовательской нечестности. Василий Белов же в публицистике и интервью – при жизни Александра Исаевича! – неоднократно сравнивал положение колхозников с положением крепостных. Отсюда, в частности, то, о чём не любят говорить, по выражению писателя, “университетские всезнайки из интернационалистов” и, добавлю, часть государственников-патриотов: “и сколько ребят талантливейших было на Руси, так и пропавших в нужде, в безнадёжности, в полуобразованности! Намертво закрыты дороги были <...>” (“Молюсь за Россию!” Беседа Владимира Бондаренко с Василием Беловым // “Наш современник”. 2002. № 10).

А те, кто пробился (как сказано в одном из стихотворений Белова) “Через еврейские заслоны // И комиссарские посты”, те, кого любят называть в данном случае, являют исключение из правил. За свой успех они – Виктор Астафьев, Николай Рубцов, Василий Шукшин... – заплатили многочисленными унижениями, лишениями, изломанными судьбами...

Отсюда, по Белову, корни “шараханий” В. Астафьева: его дружба или нечто подобное с “прорехой на человечестве” Борисом Ельциным и некоторыми либералами, непростительные, несправедливые гадости, которые Виктор Петрович написал о русских, России, патриотах. Даже когда Астафьев временно прозрел и, в сущности, верно характеризовал, как тогда выражался, демократов, он позволял себе такие, прибегну к эвфемизму, резкие выражения, на которые Василий Белов – при всём своём бойцовском характере – не был способен. В качестве примера приведу цитату из письма к В. Лакшину в сентябре 1988 года: “Но, дорогой Владимир, зачем так много сделалось “святых” в литературе? Поруганных и пострадавших? Это в нашей-то современной литературе и искусстве? По коридорам которых бегают “Белинская” Наталья и трясёт обоссанным от умственного напряжения подолом?! Или, с другой стороны, – Розенбаум, ещё в люльке облысевший от музыкально-сексуального перенапряжения? Да, и мы достойны, за малым исключением, того, чтоб Иванова-Белинская-Рыбакова Наталья витийствовала в журналах и представляла нашу литературу аж в Голландиях, а Розенбаум орал блатным голосом про боль Афганистана.

Работники, народ, общество рождает мыслителей и “гениев” себе подобных, а время формирует “ндравы” и выплёвывает, а ныне – высирает тощих и хищных, как озёрная щучка, критиков, подобных Ивановой, при взгляде на которую уже, не читая её опусов, можно точно заключить: до чего же дошло и выродилось человечество!” (Астафьев В. Нет мне ответа...: эпистолярный дневник. М., 2012).

Естественно, что для Белова проблема социального бесправия сельских жителей была одной из главных. Показательно, что во время встречи с Твардовским он озвучил требование дать всем крестьянам паспорта. На что главный редактор “Нового мира” ответил “по-суловски”: “Разбегутся же все” (“Наш современник”. 2002. № 10).

Закономерно, что и свою повесть “Привычное дело” Белов неоднократно характеризовал как, прежде всего, голос в защиту русского крестьянства. И вообще, по свидетельству Василия Ивановича, толчком к творчеству послужило желание сказать “то, чего не могли сказать другие, не робея, или не хотели говорить. Например, о положении крестьян в начале 40–50-х годов” (Белов В. Для чего я пишу // “День”. 1992. № 14).

Итак, в отличие от авторов, которые оценивали и оценивают “Привычное дело” как новаторскую повесть 60-х годов, ставшую классикой русской литературы, Александр Солженицын ничего выдающегося в произведении не увидел. Он, писатель второго-третьего ряда, не смог подняться до уровня творения своего гениального современника. В статье Солженицына довольно много неточных и откровенно несправедливых суждений. И данная тенденция не только сохранилась, но и набрала силу в трактовке других произведений Василия Белова.

## II

“Лад” – единственная книга Белова, которая характеризуется Солженицыным исключительно положительно. Александр Исаевич, справедливо отмечая уникальность “Лада”, называет многие достоинства очерков о народной эстетике и именует эту книгу “драгоценностью в русской печатности”. Однако Солженицын не определил многозначные смыслы ключевых понятий очерков и художественного мира Василия Белова вообще. На мой взгляд, лучше Солженицына и других авторов это сделали Юрий Селезнёв (Селезнёв Ю. Василий Белов. М., 1983) и Виктор Бараков (Бараков В. Лад и разлад. Книга Василия Белова “Лад” // “Наш современник”. 2013. № 12).

С позиций “лада” и “разлада” точнее прочитываются все книги Белова и, в первую очередь, те, которые создавались параллельно с очерками о народной эстетике. Это большая часть цикла “Воспитание по доктору Споку” и роман “Кануны”.

Возникает впечатление, что Солженицын не знает о том, что “Воспитание по доктору Споку” – это цикл рассказов, в который входят “Плотницкие рассказы”, “Моя жизнь”, “Свидания по утрам”, “Чок-получок”, “Дневник нарколога”. Вне поля зрения автора остаются “Моя жизнь” и “Дневник нарколога”, а остальные части характеризуются очень бегло-поверхностно-неточно.

Солженицын ни слова не сказал даже о том, на что он, казалось бы, должен был обратить внимание в первую очередь. В “Плотницких рассказах” Василий Белов одним из первых в литературе 60-х годов разрушает советские представления о “бедняках”, “кулаках”, “коллективизации”. Именно из “Плотницких рассказов” выросла грандиозная эпопея Белова “Кануны”, “Год великого перелома”, “Час шестой”.

Финал “Плотницких рассказов”, неадекватно воспринятый Солженицыным, вызвал удивление у многих критиков и читателей. Высказывались разные версии, объясняющие неожиданное единение в песне героев-антиподов Смолина и Козонкова. Это пение оставляет надежду на то, что и в, казалось бы, утратившем всё человеческое Козонкове ещё теплится душа.

Неумение же Кости Зорина подхватить песню пунктирно обозначает проблему утраты последующими поколениями народных, песенно-музыкальных традиций. Как подтверждение точности диагноза Белова и как своеобразное продолжение темы финала “Плотницких рассказов” воспринимается признание Владимира Личутина: “Вот и на малой родине, на реке Мезени, на российской окраине было записано более двухсот песен. Я перечёл их, и – о, стыд! – почти не ощутил родства: хотя тайным знаком почти всякая песня посылала мне намёк, что пелись они в застольях ещё моего детства, в послевоенное лихолетье, при свете керосинки. Вот так стремительно отрезали стержневой пласт народной культуры, который служил не только основанием национальной пирамиды духа, но и пронизывал её насквозь, приобретая с веками всё большую крепость и настой. И рез этот, пусть и зарубцевавшийся, едва видимый ныне следок, однако временами ноет почти в каждой русской душе” (Личутин В. Цепь незримая... // “Дружба народов”. 1989. № 8).

Пересказ “Канунов” Белова занимает почти половину большой статьи Солженицына. При этом о второй части (романе “Год великого перелома”) говорится одним абзацем, о третьей же (о романе “Час шестой”) не упоминается совсем. То есть изначально позиция Солженицына уязвима, непродуктивна: он определяет взгляд писателя, характеризует проблемы, образы и так далее по одной части. К тому же, уровень разговора о “Канунах” настолько непрофессиональный, что, если бы не знал имя автора, то подумал: сей текст написал “слабый” студент-первокурсник.

Солженицын, главным образом, пересказывает некоторые сюжетные линии романа. Он демонстрирует незнание общеизвестных фактов истории создания и публикации трилогии, без которых полноценный разговор о ней невозможен. Солженицын не замечает новаторских открытий Белова в изображении коллективизации (и не только её), представляет позицию автора “Канунов” через обрывки мыслей героев с “приправой” своих несправедливо-примитивных домыслов, версий.

Проиллюстрирую сказанное несколькими тезисами, ибо полноценная полемика с Солженицыным вылилась бы в отдельную, очень большую статью.

1. “Кануны” впервые были опубликованы не в 1976-м, как у Солженицына, а в 1972 году в журнале “Север”. В редакции “Нового мира”, где появилась статья Солженицына о Белове, могли и должны были указать автору на явную фактическую ошибку: “В середине же 70-х годов Белов приступает к роману “Кануны”. — Ю. П.) о деревне конца 20-х годов”.

Многократно поражает незнание Солженицыным и других общеизвестных фактов. Например, две части “Канунов” до 1989 года издавались в сильно изуродованном цензурой варианте, о чём Солженицын не говорит и, как видим из текста, не догадывается.

Во многом это незнание является почвой, из которой вырастают политические, дурно пахнущие версии. Так, о третьей части “Канунов” (1987) говорится следующее: “Под влиянием ли “перестроечной” обстановки в СССР испытал Белов к этому году потребность подправить или подзакончить свою книгу 1976 года, о возможном продолжении которой, прежде всего, не было объявлено <...> Сдвигка понимания текущих в 1929 году событий — несомненно представлена, они больше не сводятся к злостной воле единственного Игната Сопронова <...>”.

Эта версия противоречит фактам творческой биографии Белова, его характеру и мировоззрению, смыслу его трилогии и всего творчества. Александр Исаевич ошибся адресом: его версия применима к “апрелевцам”, к вечным перестройщикам, к политическим проституткам, чьи имена хорошо известны.

2. То, как работает с текстом Белова Солженицын, покажу на одном из ключевых эпизодов “Канунов”. Поединок Игната Сопронова с Павлом Пачиным в финале второй части романа интерпретирован так: “И тут, в последних страницах, автор вносит сюжетный ход, совсем не нужный Сопронову (получается, что герой оценивает автора? — Ю. П.): тот выслеживает Пачина за деревней, находит его с жестокой дракой, затем и стреляет в него из ружья — да осечка. (А расстреливать — сельским активистам не требовалось, то делали специалисты ГПУ.) Павел вырывает ружьё — и пренебрегает жалким врагом, оставляет его без возмездия.

Окончание всего романа?.. Не тянет на то. Не достроено”.

Задолго до Солженицына Игорь Золотусский (награждённый Александром Исаевичем премией собственного имени в 2005 году) в статье “Оглянись с любовью” (1981) принципиально иначе, точно оценил данный эпизод. Он, обращая внимание на чувства и мысли Пачина (которые Солженицын почему-то пропустил), пришёл к выводу: “В Белове отзываются родные голоса русской классики. Жалость к человеку — не унижающая, а возвышающая человека, — это завещано нам оттуда. Поэзия вражды, так долго господствовавшая в литературе, сменяется поэзией мира <...>”.

Выражаясь иначе, как, по понятным причинам, Золотусский не мог сказать в то время, в творчестве Белова (в отличие от писателей социалистического реализма с их социально ограниченным мировоззрением, разрешающим и “кровь по совести”) утверждается христианское отношение к человеку и миру.

Естественно, возникает вопрос: почему и это Александр Исаевич не заметил? Одна из причин видится мне в том, что человечески, мировоззренчески, творчески Солженицын так и не смог выйти за пределы той системы ценностей, которую Золотусский образно назвал “поэзией вражды”.

3. Цензура, вырезавшая куски и целые главы о Сталине, Бухарине и так далее, пропустила, пожалуй, самый идеологически взрывоопасный эпизод “Канунов” — монолог Прозорова во время спора с Лузиным. Этот крамольный эпизод Александр Исаевич также умудрился не заметить.

В то время, когда разные диссиденты — от Андрея Сахарова до Андрея Синявского — ратовали за “социализм с человеческим лицом”, конвергенцию,

свободу слова, права человека, права национальных и сексуальных меньшинств и тому подобное, Василий Белов, как и члены ВСХСОН, видел корни проблем в другом. В “Канунах” (через уста Прозорова — одного из наиболее созвучных автору героев) Белов транслирует мысль о примитивности, абсурдности главных постулатов марксизма-ленинизма и называет факторы (национальный, религиозный, семейный), играющие гораздо большую роль, чем классовые противоречия.

4. Солженицын принципиально искажает смысл “Канунов”. Он настойчиво пытается доказать (точнее, навязать) идею, что Белов сужает преступления советской власти против крестьянства до несправедливых действий отдельных личностей. Дескать, виноваты Игнаты Сопроновы, представляющие власть на местах, “а партия тут ни при чём. Это — обдуманый ход автора”.

Всякому непредвзятому читателю очевидно другое: Сталин, Бухарин, Калинин, Яковлев, Меерсон и другие равноуровневые представители власти в трилогии (за редким исключением) ненавидят крестьянство. И коллективизацию — политически реализованную ненависть — Белов изображает, в отличие от предшественников и современников, как величайшее преступление XX века, как величайшую трагедию народа. Это видение реализуется и через судьбы десятков героев, и через авторские характеристики. Уже в своей публицистике Белов сравнивал коллективизацию с геноцидом.

В отличие от Солженицына, я считаю, что трилогия Белова — это гениальный роман-эпопея, в котором предельно объективно изображается трагедия, судьба русского крестьянства в XX веке. Более того, это лучшее произведение о коллективизации в русской литературе минувшего столетия.

Солженицын, сравнивая “Всё впереди” (1986) с “Ладом” (1979–1981), сразу выдвигает ложную версию творчества Белова, ошибочно определяет направленность романа и очерков о народной эстетике. Александр Исаевич утверждает: “После растравного окунания в невозвратное русское прошлое Белов более должен был чувствовать себя неуместным в неуютном настоящем, в роящемся потоке современной жизни, не смог не ощутить себя в конфликте с нею”.

Вызывает возражение сама идея конфликта автора “Лада” с “современной жизнью” во “Всё впереди”. Оставляя без комментариев логически-понятийные нестыковки, замечу: ещё за три года до появления романа Юрий Селезнёв справедливо утверждал: “истинный, глубинный водораздел <...> в творчестве Белова проходит не между “городом” и “деревней” (добавлю: не между “прошлым” и “настоящим”. — Ю. П.), но между “живой жизнью” <...> и жизнью механически заведённой <...>” (Селезнёв Ю. Василий Белов. М, 1983).

То, что Солженицын называет конфликтом с современностью, характерно для “Привычного дела”, “Плотницких рассказов”, “Свиданий по утрам”, “Чока-получока” и других произведений 60–70-х годов. Одно из отличий их от “Всё впереди” состоит в том, что в романе конфликт между “жизнью живой” и “жизнью мёртвой” изображён на московском материале.

Непродуктивен и подход Солженицына, оценивающего первую часть “Всё впереди” как практически отдельное произведение. Отсюда и идея о решительности Белова, появившейся во второй части романа, и последовавшее за ней логическое продолжение: “И ограничь автор свой роман этой 1-ю частью — он воплотил бы свои наизидания лишь в художественной форме, и мы могли бы упрекнуть его лишь в крайней непроявленности главных персонажей — Медведева и Бриша <...>”.

Зачем характеризовать первую часть “Всё впереди” как законченное произведение, зная о том, что роман задумывался, создавался и публиковался как единое, цельное творение? В таком подходе Солженицына видится предвзятость и исследовательский непрофессионализм.

А предвзятости и непрофессионализма в анализируемой статье с избытком. Например, французская сюжетная линия (для тех, кто не читал “Всё впереди”, поясню: речь идёт о туристической поездке трёх героев романа) оценивается Солженицыным, по сути, с тех же позиций, что и Иван Африканович (“только и мыслимый в отведённой ему непритязательной колее”). Белова Александр Исаевич помещает в *отведённую ему колею* и в очередной раз задаёт более чем странный вопрос: “Как сам он (Белов. — Ю. П.) вместились (разрядка моя. — Ю. П.) в подобную поездку?”



Вновь опуская комментарии, констатирую: в данном случае Солженицын мыслит как типичный “образованец”...

Несомненно, что большую часть и этого куска статьи, посвящённого “Всё впереди”, составляет пересказ (часто вольный). Тогда же, когда предпринимаются попытки анализа текста, часто отсутствуют доказательства, характеристики героев, цитаты и тому подобное. В других же случаях, в которых Солженицын подкрепляет свои частные оценки рассуждениями общего плана, периодически возникает обратный эффект. Так, после утверждения: “В тоне автора нарастает раздражение”, — высказывается не вызывающая возражений мысль: “Само по себе раздражение не может стать движущей силой хужожественной удачи”.

Оба этих суждения повисают в воздухе, ибо не имеют к роману Белова никакого отношения. Но они прямо характеризуют самого Солженицына, в основе творчества которого чаще и больше всего лежат раздражение, ненависть.

Нередко Александр Исаевич судит о словесности, как “человек с улицы”, не обладающий элементарными знаниями по, назову условно, теории литературы. Видимо, филологически образованному читателю даже с учётом, мягко говоря, “вывихнутости” языка Солженицына и при очень-очень-очень-очень-очень-очень большом желании невозможно проглотить предложения, подобные следующему: “Нарколога Иванова, которому всё более поручается выражать автора” (кость, застрявшую в горле, выделил разрядкой. — Ю. П.).

Не менее уязвимы высказывания Солженицына о “сплошь неудачном юморе”, “затрёпанных городских острогах” и последовавший затем вывод: “даже неловко читать”. Людям, рассуждающим подобным образом, с “неловкостью” советую: прочитайте хотя бы статью Михаила Бахтина “Автор и герой в эстетической деятельности”. А можно и без знаний, на уровне интуиции понять, что шутки, юмор героев — это не шутки и юмор Белова, между персонажами и автором “Всё впереди” существует (в каждом конкретном случае) разная дистанция. Через “городские остроги”, резко характеризуемые Солженицыным, автор романа показывает духовное оскудение и выхолощенность жизни “шутников”.

Ещё более “неловко” комментировать солженицынский вывод, итожащий его суждения о юморе: “кончаешь 1-ю часть с ощущением: всё это — духовно неплотно”. Но “духовная плотность” обусловлена, в первую очередь, жанром произведения, героями и жизнью, находящимися в центре повествования. Поэтому, думаю, не может быть “духовной плотности” в таких произведениях, как “Горе от ума”, “Ревизор”, “Мёртвые души”, “Июнь”, “Вишнёвый сад”, “Котлован”, “Дом на набережной” и многих иных.

И, конечно, писатель, требующий “духовной плотности” от других, сам должен демонстрировать её в своём творчестве. Однако и в ранних, якобы классических произведениях (“Одном дне Ивана Денисовича”, “Матрёнин двор”), и в поздних рассказах (“На изломах”, “На краях”, “Абрикосовое варенье”, “Настенька”, “Молодняк” и т. д.) искомое качество отсутствует.

Порой Солженицыну, как в случаях с М. Шолоховым и Г. Жуковым, отказывают элементарная логика, чувство правды факта, правды жизни. Можно ли упрекать Белова за то, что он в романе игнорирует “остро новые ноты” середины 80-х годов, если события в произведении происходят в середине 70-х? К тому же не уточняется, какие ноты имеются в виду. А это, думаю, было необходимо сделать, так как собственно “новые ноты” зазвучали уже после публикации “Всё впереди”. Роман же Белова и “Ловля пескарей в Грузии” В. Астафьева стали первыми “новыми нотами” в литературе данного периода.

Не случайно именно названные произведения вызвали столь жёсткие, убийные оценки со стороны всей “прогрессивной общественности”. И в своей статье Солженицын в мягкой форме повторяет эти оценки. Проиллюстрирую сказанное на одном примере.

Как известно, большей частью либералов, “образованцев” Александр Исаевич давно (примерно со времени публикации “Наших плюралистов” и “Ленина в Цюрихе”) назначен антисемитом. После выхода двухтомника “Двести лет вместе” (2001–2002) на Солженицына обрушился очередной вал обвинений в антисемитизме.

И вот в 2003 году Александр Исаевич, ведя речь о герое “Всё впереди” Иванове, по сути, протягивает руку искателям антисемитов. Он задаёт риторические вопросы, адресованные, скорее, Белову, давно зачисленному теми же “мудрецами” из либералов, “образованцев” в антисемиты: “как будто

все причины произошедшего в еврейской принадлежности Бриша – неужели это евреи виноваты в беспутстве и развале русских семей?”

Либералы пошли дальше Солженицына: они не только обвинили автора “Всё впереди” в антисемитизме, но и в фашизме, человеконенавистничестве, женоненавистничестве. Эти и другие обвинения беспочвенны по разным причинам. Во-первых, вновь повторю, речи Иванова и других героев не есть трансляция взглядов Белова. Во-вторых, условно говоря, отрицательный персонаж Бриш нигде не отождествляется автором с еврейским народом, который писателем не характеризуется вообще. В-третьих, отрицательных героев – этнических русских – в романе, как и во всём творчестве Белова, многократно больше, чем евреев. И никому в голову не приходит обвинять Белова в русофобии. В-четвёртых, констатация еврейской национальности персонажа – проявление антисемитизма? Нет, конечно. Видимо, прав был Виктор Астафьев, назвавший в 1988 году главную причину нападков на роман Белова в письме к Владимиру Лакшину, одному из хулителей “Всё впереди”: “Спроси себя наедине иль в “передовом обществе” – не было бы гадких евреев в романе Василия Белова (точнее: одного еврея – Бриша. – Ю. П.), напал ли бы ты на него? Уверен, что нет” (Астафьев В. Нет мне ответа...: эпистолярный дневник. М., 2012).

Думаю, вместо того чтобы обвинять Белова в антисемитизме, давно пора признать его правоту, его провидческий дар. На примере Бриша писатель показал, условно говоря, тип цинично-предприимчивого еврея, который станет хозяином жизни через несколько лет после выхода романа. Тем же, кто, подобно Солженицыну, задаёт наивные или якобы наивные вопросы, в очередной раз напомины об общеизвестном о той глобально разрушительной роли, которую играли и играют в судьбе страны березовские, гусинские, ходорковские, чубайсы, гайдары, авены, швыдкие, прохоровы, ливановы и им подобные бриши.

Конечно, Белов не снимает с каждого героя, человека, с каждого русского ответственности за свою судьбу, судьбу своей семьи, народа, государства. В этом, собственно, главный пафос романа “Всё впереди”, а также многих статей, интервью писателя.

И всё же, как человек эмоциональный, Белов не мог не отреагировать на огульные обвинения в свой адрес. 4 августа 1989 года он, выступая на сессии Верховного Совета СССР, выразил резко-негативное отношение к идее первого заместителя премьера Никитина заселить “свободные земли Российского Нечерноземья” “мигрантами”. При этом Василий Иванович явно держал в уме и миф о себе, который активно внедрялся в массовое сознание после выхода “Всё впереди”, и традиционную реакцию либералов на выступление любого человека, отстаивающего русские интересы: “Товарищи журналисты из так называемых леворадикальных газет (здесь Василий Иванович не совсем точен: против автора “Всё впереди” объединенным фронтом выступили коммунистические, академические, демократические и, как тогда их называли, леворадикальные издания: “Правда”, “Известия”, “Знамя”, “Вопросы литературы”, “Московский комсомолец” и другие. – Ю. П.), только не клейте мне ярлык шовиниста. Ничего не получится. Я готов плакать, когда слушаю грузинские народные песни. Радуюсь тому, что Армения выстояла, когда у неё тряслась под ногами земля <...>. У меня радуется душа при виде грандиозного певческого поля в Литве. Я люблю стихи Навои и юмор Ходжи Насреддина. Я хочу, чтобы процветали все народы нашей страны, и, конечно, прежде всего, русский народ. Неужели любовь к своему народу – это шовинизм?” (“Литературная Россия”. 1989. № 37).

Те, к кому были обращены эти слова, относились, относятся и будут относиться к подобным откровениям с саркастическим недоверием. Переубедить их невозможно, да и нет смысла. Не для них приведу разные факты, дающие представление о позиции Белова по национальному вопросу, который конкретизирую на примере украинского.

В “Годе великого перелома” (1989) писатель не просто одним из первых, а чуть ли не первым в СССР показал трагедию раскулаченных украинских крестьян, сосланных на Север, но сделал это с редчайшим состраданием и высочайшим художественным мастерством. Об этой же трагедии Белов говорит в статье “Ремесло отчуждения”, ссылаясь на документы, цифры. При этом он, в частности, с горечью замечает: “Не ясно покамест и то, сколько украинских детей, стариков, женщин и мужчин было зарыто на импровизированных лесных кладбищах вдоль всей Северной железной дороги” (“Новый мир”. 1988. № 6).

С учётом нынешних реалий есть смысл уточнить: в отличие от российских либералов и украинских националистов, Белов в романе и в публицистике не рассматривает величайшую трагедию XX века как исключительно украинскую. Писатель изображает эту трагедию как трагедию русских, украинцев и людей других национальностей, которые стали жертвами преступной политики космополитической, прежде всего, — антирусской власти.

Солженицын несколько раз ставит в вину Белову факты его комсомольско-партийной биографии и этим объясняет якобы просчёты и неудачи творчества. С аналогичных позиций характеризуют судьбу Белова либералы, Виктор Астафьев (письмо Валентину Курбатову от 1 января 1992 года), и не только они.

Во-первых, сторонники такого формально-примитивного подхода упоминают большевиков, так как сущность человека, значение творчества определяют должностью, партийностью и так далее. Если руководствоваться данной “методологией”, то тогда сразу нужно поставить крест на произведениях сотен коммунистов с многолетним стажем, лауреатов Сталинской, Ленинской, Государственной и иных премий. Начать можно с А. Твардовского, А. Рыбакова, Ю. Трифонова, А. Вознесенского, Б. Окуджавы...

Во-вторых, в отличие от либеральных кумиров (Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского и многих других), в творчестве Белова нет прославления Ленина, Сталина, Дзержинского, Менжинского, Шмидта, комиссара Когана и просто “комиссаров в пыльных шлемах” и т. д.; нет подмены традиционных ценностей, утверждения антихристианских идей и многого другого. Творчество Белова боговдохновенно и православно по своей сути.

Вообще же Василий Иванович, “вечный член бюро обкома” (В. Астафьев), сделал и для своих земляков, и для всей страны гораздо больше, чем многие партийные и беспартийные балаболы и “чистюли”. Достаточно назвать асфальтовую дорогу, проложенную на родине писателя, и предостерегающий поворот северных рек. Можно привести и факт, свидетельствующий о том, как использовал своё “положение” Белов.

Уже во времена перестройки Василий Иванович не как коммунист или либерал пытался направить Михаила Горбачёва на путь истинный. По свидетельству Валентина Распутина (Распутин В. Служба Василия Белова// “Наш современник”. 2002. № 10), Белов дважды принесил руководителю страны книги Ивана Ильина (его — величайшего мыслителя и патриота — не случайно в либеральной “Новой газете” в 2014 году некто К. Мартынов назвал “философом кадила и нагайки”) и Ивана Солоневича. (Понятно, что у Горбачёва были принципиально другие кумиры.) Данный факт свидетельствует не только о русскости, но и наивности, редкой вере Василия Белова в человека. Эта вера, несомненно, корректировалась жизнью, что проявилось по отношению ко многим людям, к Солженицыну в том числе.

Вообще же первоначально произведение Солженицына упоминается Беловым как достоверный источник в “Записях на ходу” (“Москва”. 1991. № 7). Рассуждая о лозунге “диктатура пролетариата”, писатель иронично замечает: “Диктатура — она действительно, это самое... диктатура. Но при чём тут пролетариат? Да и что это за пролетариат с перстнями на пальцах? (Читайте Солженицына “Ленин в Цюрихе”).”

Уже в 1993 году, во времена осеннего противостояния Дома Советов с Борисом Ельциным, Белов, получив отказ из “Комсомольской правды” опубликовать своё открытое письмо Солженицыну, сделал это в “Советской России”. Комментарий писателя на реакцию Александра Исаевича предельно корректен, хотя понять отношение Белова нетрудно: “Не знаю, дошла ли публикация до Александра Исаевича Солженицына, но он не ответил на письмо, ни тогда, ни позднее...” (Белов В. Циники и симплициусы// “Наш современник”. 1994. № 10).

Как мы знаем, Солженицын ответил по-другому: поддержкой преступлений Ельцина и его окружения...

В последующие примерно пять лет происходит отрезвление части “правых”, которые первоначально восприняли Солженицына как большого писателя и русского патриота. Нечто подобное, думаю, можно сказать и о Василии Белове. В 2002 году писатель в беседе с Владимиром Бондаренко признался, что у него не лежит душа перечитывать Солженицына (“Наш современник”. 2002. № 10). В ответе на анкету Михаила Назарова среди рекомендуемых Беловым для чтения достойнейших русских писателей и мыслителей Александр Исаевич не называется (<http://webkamerton.ru/2012/12/egonarod-ne-zabudet/>). И это закономерно.